

Александр Грин

Земля и вода



Александр Грин

Земля и вода

«Public Domain»

1914

Грин А. С.

Земля и вода / А. С. Грин — «Public Domain», 1914

«– Разумеется, я пил молоко, – жалобно сказал Вуич, – но это первобытное удовольствие навязали мне родственники. Глотать белую, теплую, с запахом навоза и шерсти, матерински добродетельную жидкость было мне сильно не по душе. Я отравлен. Если меня легонько прижать, я обрызгаю тебя молоком...»

Содержание

I	5
II	7
III	9
IV	11

Александр Степанович Грин

Земля и вода

I

– Разумеется, я пил молоко, – жалобно сказал Вуич, – но это первобытное удовольствие навязали мне родственники. Глотать белую, теплую, с запахом навоза и шерсти, матерински добродетельную жидкость было мне сильно не по душе. Я отравлен. Если меня легонько прижать, я обрызгаю тебя молоком.

– Деревня?.. – сказал я. – Когда я о ней думаю, колодезный журавль скрипит перед моими глазами, а пузатые ребятишки шлепают босиком в лужах. Ясно, тихо и скучно.

Вуич сдал карты. От нечего делать мы развлекались рамсом: игра шла на запись на десятки тысяч рублей. Я проиграл около миллиона, но был крайне доволен тем, что мои последние десять рублей мирно хрустят в кармане.

– Что же делать? – продолжал Вуич, стремительно беря взятку. – Я честно исполнил свои обязательства горожанина перед целебным ликом природы. Я гонялся за бабочками. Я шевелил палочкой навозного жука и сердил его этим до обморока. Я бросал черных муравьев к рыжим и кровожадно смотрел, как рыжие разгрызали черных. Я ел дикую редьку, щавель, ягоды, молодые побеги елок, как это делают мальчишки, единственное племя, еще сохранившее в обиходе различные странные меню, от которых с неудовольствием отворачивается гурман. Я сажал на руку божьих коровок, приговаривая с идиотски-авторитетным видом: «Божья коровка – дождь или ведро?» – пока насекомое не удирало во все лопатки. Я лежал под деревьями, хихикал с бабами, ловил скользких ершей, купался в озере, среди лягушек, осоки и водорослей, и пел в лесу, пугая дроздов.

– Да, ты был честен, – сказал я, бросая семерку.

– А, надоело играть в карты! – вскричал Вуич. – Зачем я вернулся? – Он встал и, скептически поджав губы, исподлобья осмотрел комнату. – Эта дыра в шестом этаже! Этот большой диван! Эта герань! Этот мешочек с сахаром и зеленый от бешенства самовар, и старые туфли, и граммофон во дворе, и узелок с грязным бельем! Зачем я приехал?!

– Серьезно, – спросил я, – зачем?

– Не знаю. – Он высунулся наполовину в окно и продолжал говорить, повернув слегка ко мне голову. – Любовь! Вчера я в сумерках курил папиросу и тосковал. Я следил за дымными кольцами, бесследно уходящими в синий простор окна, – в каждом кольце смотрело на меня лицо Мартыновой. Потребность видеть ее так велика, что я непрерывно мысленно говорю с ней. Я одержим. Что делать?

– Гипноз...

– Оскорбительно.

– Работа...

– Не могу.

– Путешествие...

– Нет.

– Кутежи...

– Грязно.

– Пуля...

– Смешно.

– Тогда, – сказал я, – обратись к логике. – Чтобы сделать рагу из зайца, нужно иметь зайца. Ты безразличен ей, и этого для тысячи мужчин было бы совершенно довольно, чтобы повернуться спиной.

– Логика и любовь! – грустно сказал Вуич. – Я еще не старик.

Он сел против меня. В этот исторический день было светлое, легкое, лучистое утро. Я сидел в комнате Вуича, еще полный уличных впечатлений, привычных, но милых сердцу в хороший день: пестрота света и теней, цветы в руках оборванцев, улыбки и глаза под вуалью, силуэты в кофейне, солнце. Я внимательно рассмотрел Вуича. У носа, глаз, висков, на лбу и щеках его легли, еще нерешительно и податливо, исчезая при смехе, морщины, но было уже ясно, что корни их – мысли – неистребимы.

– Мартынову, – сказал Вуич, – нужно понять и рассмотреть так, как я. Ты не видел ее совсем. Эта женщина небольшого роста, смуглая в тон волос, пышных, но стиснутых гребнями. Волосы и глаза темные, рот блондинки – нежный и маленький. Она очень красива, Лев, но красота ее беспокойна, я смотрю на нее с наслаждением и тоской; она ходит, наклоняется и говорит иначе, чем остальные женщины; она страшна в своей прелести, так как может свести жизнь к одному желанию. Она жестока; я убедился в этом, посмотрев на ее скупую улыбку и прищуренные глаза, после тяжелого для меня признания.

Он пристально смотрел на меня, как бы желая долгим, сосредоточенным взглядом заставить проникнуться его горем.

– Я пойду к ней, – неожиданно сказал Вуич. Он улыбнулся.

– Когда?

– Сейчас.

– Полно, полно! – возразил я. – Не надо, не надо, Вуич, слышишь, милый?

– Я взял его руку и крепко пожал ее. – Разве нет гордости?

– Нет, – тихо сказал он и посмотрел на меня глазами ребенка.

Спорить было беспечно. Отыскав шляпу, я догнал Вуича; он спускался по лестнице и обернулся.

– Пойдем вместе, Лев, – жалобно сказал он, – с тобой, конечно, я просижу сдержанно, отсутствие посторонних вызовет слезы, злобу и... бессильную страсть.

Я согласился. Мы перешли мост, вышли на Караванную и, не разговаривая более, приехали трамваем к Исаакиевскому собору. Вуич, торопясь, покинул вагон первым. Я, выйдя, закурил папиросу, для чего мне пришлось немного остановиться, так что мой друг опередил меня по крайней мере на шестьдесят – восемьдесят шагов.

Я намеренно указываю эти подробности в силу значения их в наступившем немедленно вслед за этим сне наяву.

II

Меня как бы ударили по ногам. Я упал, ссадив локоть, поднялся и растерянно посмотрел вокруг. Часть прохожих остановилась, из ворот выбежал дворник и тоже остановился, смотря мне в глаза. Я шатался. Вокруг, звеня, лопались, осыпаясь, стекла. Оглушительное сердцебиение заставило меня жадно и глубоко вздохнуть. Мягкий, решительный толчок снизу повторился, отдавшись во всем теле, и я увидел, что мостовая шевелится. Булыжники, поворачиваясь и расходясь, выскакивали из гнезд с глухим стуком. Толпа побежала.

– Что же это, что же это такое?! – слабо закричал я. Я хотел бежать, но не мог. Новый удар помутил сознание, слезы и тошнота душили меня. С купола Исаакиевского собора кружась неслись вниз темные фигуры – град статуй, поражая землю гулом ударов. Купол осел, разваливаясь; колонны падали одна за другой, рухнули фронтоны, обломки их мчались мимо меня, разбивая стекла подвальных этажей. Вихрь пыли обжег лицо.

Грохот, напоминающий пушечную канонаду, раздавался по всем направлениям; это падали, равняясь с землей, дома. К потрясающему рассудок гулу присоединился другой, растущий с силой лавины, – вопль погибающего Петербурга. Фасад серого дома на Адмиралтейском проспекте выгнулся, разорвал скрепы и лег пыльным обвалом, раскрыв клетки квартир, – богатая обстановка их показалась в глубине каждого помещения. Я выбежал на полутемную от пыли Морскую, разрушенную почти сплошь на всем ее протяжении: груды камней, заваливая мостовую, подымались со всех сторон. В переулках мчалась толпа; множество людей без шляп, рыдая или крича охрипшими голосами, обгоняли меня, валили с ног, топтали; некоторые, кружась на месте, с изумлением осматривались, и я слышал, как стучат их зубы. Девушка с растрепанными волосами хваталась за камни в обломках стен, но, обессилев, падала, выкрикивая: «Ваня, я здесь!» Потерявшие сознание женщины лежали на руках мужчин, свесив головы. Трупы попадались на каждом шагу, особенно много их было в узких дворах, ясно видимых через сплошные обвалы. Город потерял высоту, стал низким; уцелевшие дома казались среди развалин башнями; всюду открывались бреши, просветы в параллельные улицы, дымные перспективы разрушения. Я бежал среди обезумевших, мертвых и раненых. Невский проспект трудно было узнать. Адмиралтейский шпигель исчез. На месте Полицейского моста блесла Мойка, вода захлестывала набережную, разливаясь далеко по мостовой. Движение здесь достигло неслыханных размеров. Десятки трамвайных вагонов, сойдя с рельс, загораживали проход, пожарные команды топтались на месте, гремя лестницами и крючьями, дрожали стиснутые потоком людей автомобили, лошади становились на дыбы, а люди, спасаясь или разыскивая друг друга, перелезали вагоны, ныряли под лошадей или, сжав кулаки, прокладывали дорогу ударами. Некоторые дома еще держались, но угрожали падением. Дом на углу улицы Гоголя обвалился до нижнего этажа, балки и потолки навесами торчали со всех сторон, под ногами хрустели стекла, фарфор, картины, ящики с красками, электрические лампы, посуда. Множество предметов, чуждых улице, появилось на мостовой – от мебели до женских манекенов. Отряды конных городских, крестясь, без шапок двигались среди повального смятения неизвестно куда, должно быть, к банкам и государственным учреждениям.

Впервые я поразился пестротой и разнородностью толпы, окружавшей меня. Приказчики, дети, неизвестные, хорошо одетые, толстые и очень бледные люди, офицеры, плачущие навзрыд дамы, рабочие, солдаты, оборванцы, гимназисты, чиновники, студенты, отталкивая друг друга, падая и крича, бросались по всем направлениям, потеряв голову. Стремительное движение это действовало гипнотически. Глаза мои наполнились слезами, сила душевного потрясения разразилась истерикой, я бился головой о трамвайный вагон. Больше всего я боялся сойти с ума; боль в ушах, слабость и тошнота усиливались. Я стоял между прицепным и передним вагоном, встречаясь глазами с тысячью бессмысленных, тусклых взглядов толпы,

пока не разразился третий удар. Я закрыл глаза. Вагоны, загремев, сдвинулись, сохранив мне, стиснутому ими до боли в плечах – жизнь, так как уцелевшие стены зданий, медленно и грозно склонясь, рухнули вокруг Невского, сокрушая неистовую толпу, и свежий туман пыли скрыл небо.

Вдруг я очнулся, исчезло оцепенение, и настоящий животный страх хмелем плеснул в голову, приобщая меня к панике. Удары камней в стенки вагона почти разрушили их, и я уцелел чудом. Я понял, что единственная истина теперь – случайность, законы тяжести, равновесия и устойчивости более не оберегали меня, и я, по свойственному человеку стремлению к дисциплине материи, рвался в сокрушительном волнении города к неизвестно где существующим спасительным остаткам незыблемости. Я кинулся, работая локтями, вперед, к Мойке; это был инстинкт неудержимый и – увы! – слепой, так как многие во власти его нашли смерть.

Я не понимаю, как уцелело бесконечное множество людей, запрудивших улицы. Их было почти столько же, сколько трупов, пробираться между которыми было не так легко. Избегая ступать по мертвым и ползающим с раздробленными ногами, я проваливался в нагромождениях стропил, досок и кирпичей, рискуя сломать шею. Громадные исковерканные вывески гнулись подо мной с характерным железным стоном. С поникших, а местами упавших трамвайных столбов паутиной висела проволока, останавливая бегущих; как я узнал после, электрический ток в момент начала гибели Петербурга был выключен.

Я остановился у Мойки. Сознание отказывалось запечатлеть все виденное мной; любая из сцен, происходящих вокруг, взятая отдельно, в условиях повседневной жизни, могла бы вытеснить все впечатления дня, но сила трагизма их уничтожалась подавляющим, беспримерным событием, последствия которого каждый уцелевший переживал сам.

Я видел и запоминал лишь то, что, по необъяснимому капризу внимания, бросалось в глаза; все остальное напоминало игру теней листвы, бесследно пропадая для памяти, лишь только я обращал взгляд на другие явления. Мало кто смотрел вниз, лица почти всех были обращены к небу, как будто дальнейшее зависело от голубого пространства, жуткого в своей ясной недостижимости. Мимо меня, спотыкаясь, пробежала старуха в дорогом разорванном платье; она прижимала к груди охапку сыплющихся из-под ее рук вещей, среди которых были, вероятно, ненужные теперь рюши и кружевные косынки. Мужчина, коротко остриженный, с красным затылком, сидел, закрывая лицо руками. На углу Мойки полуодетый молодой человек пытался поставить на ноги мертвую женщину и хмурился, не обращая ни на кого внимания. Несколько людей – по-видимому, семейство, – протягивая руки, ползли в щелке и мусоре к повисшему на выступе разрушенной стены человеку; он висел на камнях, подобно перекинутому через плечо полотенцу, лицом ко мне, – по его рукам обильно текла кровь. Извозчик возился около издыхающей лошади, снимая дугу; на той стороне канала городской стрелял из револьвера в группу убегающих проворных людей с котелками на головах. Крики, раздававшиеся вокруг, поражали не выразительностью слов, а звуками, утратившими всякое сходство с голосом человеческим.

«Землетрясение! – О, боже, о боже мой!» – ревело вокруг меня, соединившего свой крик с общим неистовством гибели. По колени в воде я остановился на краю набережной, скинул пиджак и поплыл на другую сторону. Волнение с зловещим глухим плеском бросало меня вперед, назад и опять вперед, пока я среди других плывущих не уцепился за остатки моста. Я вылез на мостовую и побежал, стремясь к Михайловскому скверу, где в случае нового сотрясения почвы площадь могла послужить некоторой защитой от падающих вокруг зданий.

III

Теперь, когда я пишу это, лежа в одной из гельсингфорских больниц (русские города, заставляя вспоминать разрушенный С.-Петербург, внушают мне страх), меня занимает и служит предметом постоянного удивления то, что немногие, определенные и удержанные сознанием мысли, казавшиеся в памятный день 29 июня грандиозными, вполне соответствующими неожиданностью своей размерам события, так элементарны, бессильны и фантастичны. Я думал, например, о таких пустяках, как седые волосы, размышляя, поседею ли я, или торопливо соображал, какой город будет теперь столицей. Любопытство или, вернее, неотразимая притягательность в ужасе – ужаса еще большего, представление о границах возможного для человеческого рассудка, убеждала меня в фактах столь странных, что объяснить это можно лишь полным нарушением в те моменты душевного равновесия. Нисколько не противореча себе и слепо веря призракам грандиозного, единственно возможным в то время, потому что происходили вещи неслыханные, я последовательно переходил от столкновения земного шара с кометой к провалу европейского материка, остановке вращения земли вокруг оси, наконец – к пробуждению неисследованной силы материи во всех ее состояниях, природного разрушительного начала, получившего от неизвестных причин загадочную свободу. Я решил также, что все новые дома должны упасть раньше других. Кроме того, я болезненно хотел знать, как выглядит дом на Невском проспекте между Знаменской и Надеждинской: в этом доме я жил. Падающий Исаакиевский собор уничтожил мгновенно всякое воспоминание о Вуиче и Мартиновой, и я вспомнил о них только вечером, но об этом расскажу после.

У Малой Конюшенной я увидел священника, немолодого, с утомленно-полузакрытыми глазами полного человека без шляпы; он стоял на упавшем ребром обломке стены и, прижимая к груди ярко блестящий крест, говорил громким повелительным голосом: «Пришло время. Время... Если вы понимаете...» Он повторял эти слова как бы в раздумьи. Бледный городской, трясясь, бросился на меня и, сильно ударив по лицу, разбил губу. Я ускользнул от него, как помню, без удивления и оторопи; за других некогда было думать. Полуодетая, с внимательным и красивым лицом барышня остановила меня, схватив за руку, но, осмотрев, исчезла. «Я думала, это ты», – сказала она. Другая спросила: «Где мама и Вовушка?» Хулиганы рвали из ушей женщин серьги, показывая ножи, рылись в грудях вещей, или, с деловым видом обыскивающих арестанта надзирателей, шарили у рыдающих людей в карманах, и жертвы этого беспримерного циничного грабежа относились к насилию безучастно, так же как горячечный больной не замечает присутствующих. Я, опять-таки не удивляясь, словно так было всегда, смотрел на грабителей, но, запнувшись об одного из них, обиравшего, стоя на коленях, труп офицера, вздрогнул, поднял кирпич и размозжил оборванцу голову.

Я находился теперь около Казанского сквера. Земля время от времени легонько подталивала снизу опрокинутый город, как бы держа его на весу в минутном раздумьи. Таинственный трепет земли, напоминающий внезапный порыв ветра в лесу, когда шумит, струясь и затихая, листва, возобновлялся с ничтожными перерывами. В красной пыли развалин, скрывающей горизонт, медленно ползли тучи дыма вспыхивающих пожаров. Казанский собор рассыпался, завалил канал; та же участь постигла прилегающие кварталы. Скопление народа остановило меня.

В этот момент мне довелось увидеть и пережить то, что теперь в истории этого землетрясения известно под именем «Невской трещины». Я стал падать, не чувствуя под ногами земли, и, перевернувшись на месте, сунулся лицом в камни, но тотчас же вскочил и увидел, что падение было общим, – никто не устоял на ногах. Вслед за этим звук, напоминающий мрачный глубокий вздох, пронесся от Невы до Николаевского вокзала, буквально расколов город с левой стороны Невского. Застыв на месте, я видел ползущий в недра земли обвал; люди,

уцелевшие стены домов, экипажи, трупы и лошади, сваливаясь, исчезали в зияющей пустоте мрака с быстротой движения водопада. Разорванная земля тряслась.

– Это сон! – закричал я; слезы текли по моим щекам. Я вспомнил, что после Мексиканского землетрясения меня душил ночью кошмар – свирепые образы всеобщего разрушения; тогда снилось мне в черном небе огненное лицо бога, окруженное молниями, и это было самое страшное. Я смотрел вверх с глухой надеждой, но небо, отливавшее теперь тусклым свинцовым блеском, было небом действительности и отчаяния.

Оглянувшись назад, я, к величайшему удивлению своему, заметил одноцветную темную толпу с темными лицами, тесным рядом взбегающую на отдаленные груды камней, подобно солдатам, кинувшимся в атаку; за странной, так легко и быстро движущейся этой толпой не было ничего видно, кроме темной же, обнимающей горизонт, массы; это мчалась вода. Различив наконец белый узор гребней, я отказываюсь дать отчет в том, как и в течение какого времени я очутился на вершине полуразрушенного фасада дома по набережной Екатерининского канала, – этого я не помню.

Я лежал плашмя, уцепившись за карниз, на острых выбоинах. Снизу, угрожая размыть фундамент, вскакивая и падая, с шумом, наводящим смертельное оцепенение, затопляя все видимое, рылись волны. Вода, разбегаясь крутящимися воронками, ринулась по всем направлениям; мутная, черная в тени, поверхность ее мчала головы утопающих, бревна, экипажи, дрова, барки и лодки. Ровный гул убегающих глубоких потоков заглушил все; в неистовом торжестве его вспыхивали горем смерти пронзительные крики людей, захваченных наводнением. Вокруг, на уровне моих глаз, вблизи и вдали, виднелись по редким островкам стен ускользнувшие от воды жители. Высоко над головой парили гатчинские аэропланы. Уровень губительного разлива поднимался незаметно, но быстро; между тем казалось, что стена, на которой лежу я, оседает в кипящую глубину. Я более не надеялся, ожидая смерти, и потерял сознание.

IV

Это была тягостная и беспокойная тьма. Вздохнув, я открыл глаза и тотчас же почувствовал сильную боль в груди от долгого лежания на узком выступе, но не пошевелился, опасаясь упасть. Океан звезд сиял в черном провале воды, отсвечивая глухим блеском. Тревожный ропот замирающего волнения окружал спасшую меня стену; в отдалении раздавались голоса, крики, вздохи, плеск невидимых весел; иногда, бессильно зарываясь в темный простор, доносился протяжный вопль.

Измученный, я закричал сам, моля о спасении. Я призывал спасителя во имя его лучших чувств, ради его матери возлюбленной, обещал неслыханные богатства, проклинал и ломал руки. Совсем обессилев, я мог лишь наконец хрипеть, задыхаясь от ярости и тоски. Прислушавшись в последний раз, я умолк; холодное равнодушие к жизни охватило меня; я апатично посмотрел вниз, где, не далее двух аршин от моих глаз, загадочно блестели тонкие струи течения, и улыбнулся спокойно лицу смерти. Я понял, что давно уже пережил и себя и город, пережил еще в те минуты, когда сила безумия потрясла землю. Я знал, что навсегда останусь теперь, если сохраню жизнь, насильственно воскрешенным Лазарем с тяжестью смертельных воспоминаний, навеки прикованный ими к общей братской могиле.

Глубоко, всем сердцем, печально и торжественно желая смерти, я приподнялся на осыпающихся, нетвердых под ногами кирпичах, встал на колени и повернулся лицом к Неве, прощаясь с ее простором и берегами, казвившими город, полный своеобразного очарования севера.

Я соединил руки, готовясь уйти из мира, как вдруг увидел тихо скользящую лодку; величину и очертания ее трудно было рассмотреть в темноте, тем не менее движущееся черное – чернее мрака – пятно, мерно брякавшее уключинами, могло быть лишь лодкой.

Я остановился, или, вернее, привычка к жизни остановила меня на краю смерти. В лодке сидел один человек, спиной ко мне, и усиленно греб, стараясь держаться к стене; несколько раз весла задели о камни с характерным скребущим звуком; причины осторожности плывущего мне были непонятны, так как успокоившееся, хотя и сильное течение развертывалось достаточно широко даже для парохода. Вид работающего веслами человека подействовал на меня, как вино; энергия, желание вновь помериться с обстоятельствами вернулись ко мне, едва я заметил подобное себе существо, находящееся в сравнительной безопасности и, конечно, плывущее не без цели. Я снова захотел жить; в ту ночь случайное впечатление – например, слово – действовало магически.

Гребца мне следовало окликнуть, но я, не знаю почему, воздержался от этого, решив подать голос именно в тот момент, когда лодка будет совсем близко. Я снова лег, и меня, вероятно, можно было в темноте счесть за кусок стены. В это время, мигая красным и зеленым огнем, прошумел вдали пароход, направляясь к Коломенскому району; человек поднял весла и, оглянувшись, прижал лодку к стене так, что я при желании мог коснуться рукой его головы. Он избегал быть замеченным и внушил мне сильное подозрение. Я подумал, что этот человек, если бы захотел, мог ехать не в одиночестве, спасая других; без сомнения, передо мной сидел мародер, но, не желая брать слишком большой ответственности за неповинного, быть может, человека, я приподнялся и окликнул его вполголоса: «Эй, снимите меня на лодку!»

Гребец подскочил, ткнул веслом в стену и скрылся бы в десять секунд, но я оказался быстрее его. Вскочив на плечи этому человеку, я стиснул его за горло так сильно, что он выпустил весла, откинулся на борт и захрипел. Я оглушил его ударом весла и, напрягая все силы, выбросил в воду; он замахал руками, стараясь ухватиться за борт, но это не удалось. Я повернул лодку, отъехал и заработал веслами, стараясь как можно скорее покинуть место невольного своего плена. В лодке, когда я боролся с гребцом, мои ноги ступали на что-то скользкое и хру-

стящее; с помощью спички мне удалось рассмотреть большое количество ссыпанных в мешок золотых и серебряных вещей столового серебра, часов, украшений и церковных сосудов.

Сообразив, что наконец дальнейшее в значительной степени зависит от меня самого, благодаря свободе передвижения, я вспомнил о Вуиче. Адрес Мартыновой мне был случайно известен, но какой горькой иронией звучали слова «адрес», «дом», «улица»!

Протяжно вздыхал ветер, холодный, как рука мертвеца; заморосило, и я трясся в ознобе, пытаюсь согреть дрожащее от холода и изнурения тело сильными взмахами весел, но это не помогло; мокрый и полуголый, я чувствовал себя плохо. Плывая среди неподвижных, напоминающих остановившийся ночной ледоход, каменных заграждений – остатков вчера еще крепких населенных домов, – я стал осматриваться и кричать: «Вуич! Ты жив?» Я не помнил, второй или третий дом от угла был тот, где жила Мартынова, но, вероятно, находился вблизи него и перестал грести, крича все громче и громче.

Мой призыв не остался без ответа, но то отвечал не Вуич. Меня звали со всех сторон. Некоторые, желая указать место своего ожидания, бросали кирпичи в воду, но я не мог спасти всех – лодка поднимала не более десяти человек.

Я направился к трубам уцелевшего среди других дома и еще издали, по изменяющимся в темноте очертаниям крыши, понял, что на ней нет свободного места: там находились, вероятно, сотни людей. Подъехать ближе я не решился, опасаясь, что в лодку бросятся все, топя ее, себя и меня. Скоро, заметив плывущего ко мне человека, я втащил его в лодку; он, молча, не обращая на меня внимания, лег ничком и не шевелился.

– Вуич! – снова закричал я, плавая спиральными кругами и равномерно их увеличивая, с надеждой, что в одну из кривых попадет наконец исчезнувший друг.

Возле Государственного совета в лодку неизвестно с какого места совершенно неожиданно прыгнул еще один человек, выбив из моих рук весло, упал, поднялся и прицелился в меня револьвером, но, видя, что я не угрожаю ему и не собираюсь выбросить его вон, сел, не выпуская из рук оружия. Еще двое, вытянув шеи, кричали, стоя по колена в воде; я посадил их: это были две женщины.

– Куда вы едете? – спросил человек с револьвером.

– Я ищу знакомых.

– Надо выехать из города, – нерешительно сказал он, – на твердую землю.

Я не ответил. Поднимать спор было опасно: четверо против одного могли заставить плыть, куда хотят, приди им в голову та же мысль, что и человеку с револьвером, а я надеялся спасти Вуича, если он жив.

Человек с револьвером настойчиво предложил ехать по линии Николаевской железной дороги.

– Подождем парохода, – возразил я. – Никто не может сказать, как велика площадь разлива.

Я стал торопливо грести, направляясь к прежнему месту поисков. Все молчали. Фигуры их, дремлющих сидя, понурив головы, делались яснее, отчетливее; наконец, я стал различать уключины, весла и борта лодки: светало; призрачный пар скрыл воду, мы плыли в тусклом полусвете тумана, среди розовых от зари камней.

Я наклонился. Лицо, смутно напоминающее лицо Вуича, ввалившимися глазами смотрело на меня с кормы лодки. Это был человек, лежавший ничком; я взял его, как вы помните, первым. Голый до пояса, он сидел, зажав руки между колен. Я долго всматривался в его тусклое, искаженное неверным светом зари лицо и крикнул:

– Вуич!

Человек безучастно молчал, но по внимательно устремленным на меня глазам я видел его желание понять, чего я хочу. Он поднял руку; на пальце сверкнуло знакомое мне кольцо; это был Вуич.

Я сделал ему знак подойти; он переполз через заснувшего человека с револьвером и вплотную ко мне, стоя на четвереньках, поднял голову. Вероятно, и меня трудно было узнать, так как он не сразу решился произнести мое имя.

– Лева!?! – сказал наконец он.

Я кивнул. Ни его, ни меня не удивило то, что мы встретились.

– Оглох, – тихо произнес он, сидя у моих ног. – Меня это застигло на лестнице. Мартынова, когда я вбежал, не могла двинуться с места. Я вынес ее, а на улице она меня оттолкнула.

Я спросил глазами, что это значит.

– Руками в грудь, – пояснил Вуич, – так, как отталкивают, когда боятся или ненавидят. Она не хотела быть мне ничем обязанной. Я помню ее лицо.

Он видел, что мне затруднительно спрашивать знаками, и продолжал:

– Последнее, что я услышал от нее, было: «Никогда, даже теперь! Уходите, спасайтесь».

Она скрылась в толпе; где она – жива или нет? – не знаю.

Он долго рассказывал о том, как остался в живых. То же самое происходило со множеством других людей, и я слушал рассеянно.

– Теперь ты забыл ее? – крикнул я в ухо Вуичу.

Он смутно понял, скорее угадал мой вопрос.

– Нет, – ответил он, вздрагивая от холода, – это больше, чем город.

В лодке все, кроме нас, спали.

Я кружил по всем направлениям; миноносцы, катера, пароходы и баржи сновали над Петербургом, но мы еще не попали в поле их зрения. Ясное утро расцветило воду живым огнем, золотом и лазурью, а я, далекий от желаний любоваться ужасной красотой разрушения, думал о горе живых, более страшном, чем покой мертвых, о себе, Мартыновой, Вуиче, жалея людей, равно бессильных в страсти и гибели.

Вскоре незаметно для самого себя я уснул. Вуич уже спал. Меня разбудил гудок кронштадтского парохода. Нас окликнули и взяли на борт.